

*«На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Берёзы ветви поднимали
И незаметно вечерели»*

О. Мандельштам

– ...В поликлинику, значит, не поедешь сегодня? – спросила жена, мельком посмотрев в окно.

И было понятно, что ответ она уже знает, а спросила только для того, чтобы добавить в утреннюю тишину ещё каких-нибудь звуков, кроме уютного постукивания чашек и тарелок, расставляемых для завтрака. Смирнов и отвечать не стал, только улыбнулся.

Хорошо, когда тебя без слов понимают. Какая поликлиника, когда наступил, наконец, апрель – какой надо апрель, с берёзами на бледно-голубой эмали!

И тут же в его голове мандельштамовскую строчку потеснила пушкинская – «кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены...» И он вдохнул всей грудью свежий апрельский воздух, хотя никакого такого свежего воздуха в кухне не было – по холодной погоде форточку жена не открывала. А ему хватило и кусочка пейзажа за окном, а главное, предвкушения того волшебного освещения, какое мыслимо только в апреле, если уж вернуться к Мандельштаму.

По календарю апрель уже несколько дней как наступил, но необходимой Смирнову эмали всё не было. В средней полосе такие дни иногда выпадают и в марте, если он тёплый, но это редко. Ловить их

надо в апреле – лето. Но бывают годы, когда лови не лови, а ничего не наловишь – нет погоды, и всё тут. Или того хуже: едешь по какому-нибудь делу, глянешь в окно – мать честная, такие небесные декорации, будто природа лично для тебя постаралась – давай, мол, Смирнов, где твои кисти-краски? Я готова! – а он не готов, получается, и мимо, мимо, с мыслью, что вот в следующий раз уж точно... Но следующего раза у художников не бывает. Как у детей.

Как-то он обещал маленькому сыну пойти в зоопарк. Давно это было, сейчас-то сыну под сорок. Зоопарк был ненастоящий, передвижной, у них тут не столица, но всё равно должно было быть интересно. Выбрали день. Он рассказывал сыну о сонных удавах, лежащих толстыми кольцами, о вертлявых обезьянах, рисовал ему сов с загадочным взглядом – подогревал интерес. Хотя вполне можно было этого и не делать, в те времена развлечений в городе было немного, что для детей, что для взрослых. А когда день тот настал, что-то у Смирнова не срослось. «Завтра поедем», – сказал он мальчику. Сын заплакал.

Такого безутешного плача Смирнов ещё не слышал. Пять лет вроде парню, здоровый мужик, не плакса, а разревелся – не остановишь. Смирнов с женой бросились утешать, объясняли, что завтра – это то же самое, что сегодня, только ещё немножко подождать, что есть такие важные дела, которые нельзя отложить... Не понимали, что это и было то самое дело, которое нельзя отложить.

Назавтра пошёл дождь, в зоопарк стояла мокрая очередь. Посмотрели на грустных зверей, съели мороженое, но даже оно не смогло вернуть вчерашнего радостного чувства. Пока ехали в автобусе домой, сын смотрел в окно, а Смирнов набрасывал в блокноте его портрет – повёрнутая на три четверти в сторону голова, видны только ухо и кончик носа, взгляд уставлен в проплывающий мимо тоскливый пейзаж. Разочарование.

Он стал тогда об этом думать и вспомнил, как в школе зимой иногда прогуливал занятия, если погода была особенно живописной. После материной смерти они жили с отцом вдвоём, и тот его особо не проверял – не до того было, пропадал на работе. Забывался. Ну, и маленький Смирнов тоже забывался на свой лад. Придёт по темноте в школу, пару уроков отсидит, в окно случайно глянет – а там под голубыми небесами! великолепными коврами! блестя на солнце!.. Ну, он сразу сворачивался, врал про головную боль – и в лес. Учителя смотрели сквозь пальцы, жалели, всё-таки полусиротой парнишка остался, а учится всё равно хорошо. Тогда-то, наблюдая окружающий мир во всей его грандиозной соразмерности, он, наверное, и начал художником становиться. Сам того не зная.

Вот это чувство – что, если сейчас на великолепные ковры не посмотришь, эта картина никогда больше не повторится – ему и

вспомнилось, когда он в тряском автобусе зарисовывал разочарованное ухо сына. Радость давали вчера. А сегодня была очередь и грустные звери.

Чувство это он стал в себе беречь и сейчас, на седьмом десятке, хорошо отличал приготовленное ему Божьим промыслом чудо от минутного соблазна. И сегодняшнее утро уже содержало в себе все признаки грядущего восторга.

– А куда? – спросила Наталья, убирая тарелку из-под моментально съеденной яичницы.

– К старому дебаркадеру, у метрооста.

Место он давно присмотрел. Ещё когда метроост только начинали строить, он раз остановился поглядеть и прямо ахнул – такая с высокого берега перспектива открывалась, как это он раньше не замечал! Но у него тогда период был – старые дома. И люди, что в них живут. В старой городской слободе чуть не каждый дом ему позировал, благо дома уговаривать не надо. Да и многие их обитатели тоже были не против попасть на картины. Вернее, им было всё равно – народ в ветхом жилом фонде был специфический.

Река делила город на две части, и весь городской центр с древней крепостью и прочими красотами оставался на правом берегу, почти невидимый за малым лесом. А на левом был рабочий посёлок. Он давно уже прирос к городу, соединённый с ним изящным мостом довоенной постройки. Но на мосту стояли бесконечные пробки, люди злились, и злились по делу – выезжать в центр на работу приходилось всё раньше. Наконец, власти разорились на метроост – в городе-то метро давно уже прокопали.

И вот, глядя на развернувшуюся стройку, Смирнов как впервые увидел широкое полотно реки, реденький лес на другом берегу, тонкую арку старого моста вдаль и за ним пятью свечками устремлённый в небо узкий жёлтый собор. А у самого берега – практически у себя под ногами – дебаркадер с красной жестяной крышей.

Стройка, конечно, вид портила, но возможности у места были будь здоров. Не зима, нет – это он сразу определил. Не осень – не было у Смирнова осенью интереса к пейзажам. Унылая пора, очей очарованье – это, конечно, понятно, но не пушкинское у него природовосприятие, что ни говори. Интересно, думал Смирнов иногда, почему он в таких случаях всегда поэтов вспоминает, а не художников? Загадочно. Может, из-за отца. Тот любил поэзию и столько стихов ему в детстве прочитал, что ещё загадочней, почему сам Смирнов в жизни не написал ни одной рифмованной строчки, при таком-то знании классики. С другой стороны, может, поэтому и не написал.

Летом тут можно бы порисовать – но было ясно, что главное время года здесь – весна. И не вообще весна, а вот эти волшебные

несколько дней с мандельштамовской бледно-голубой эмалью. И чтобы это совпало с моментом, когда река пойдёт. И скорей бы уже эту стройку закончили, а то развезли грязищу вокруг...

Не слишком ли много просишь, спрашивал он себя, усмехаясь, и тут же отвечал – не слишком. Я ведь и не прошу, просто жду смиренно.

Строили метромост с перерывами, долго. Не так долго, как в советские времена, но и не по-капиталистически, когда – раз! – и сносят полквартала исторической застройки, а через полгода на их месте уже возвышается какой-нибудь Рэдиссон с облицовкой из полированного керамогранита, а вокруг палатки с шаурмой да торговые центры с названиями вроде Ухабино-Плаза. Один раз стройку вообще заморозили чуть не на полгода – авария там какая-то была, серьёзная, по слухам. Но вот построили – и получился мост, прямо скажем, не шедевром. Жители посёлка были в восторге – до центра теперь ехать семь минут, а Смирнов вздыхал и думал, что с чувством прекрасного у людей, принимающих решения, стало в последнее время туго.

К новогодним праздникам метромост открыли, и сейчас он, получается, встречал свой первый апрель – любимый смирновский месяц.

Смирнов встал из-за стола. Собраться было недолго – он давно приучил себя к сугубой аккуратности. По природной безалаберности далось это ему нелегко, но помогло то самое лелеемое в себе чувство невозвратимости момента. Выражение «терять время» он стал понимать почти буквально, и когда его спрашивали, как это ему удаётся всё успевать, только улыбался в ответ. Секрета-то оказалось всего ничего – класть вещи на своё место да готовить всё с вечера.

Наталья сунула в руки тёплый пакет.

– Пирожки. Давай, давай, бери, знаю, что рано не придёшь, нечего там голодному на реке мёрзнуть. И термос.

Смирнов любил свою жену. Люди вокруг расходились, сходились, страсти кипели, разговоры не умолкали – а он всё любил одну и ту же женщину и относился к факту этой постоянности тоже как к чуду, приготовленному лично для него, Смирнова Виталия Ивановича, художника Божьей милостью. Сколько он написал её портретов! В мастерской, под которую был отдан весь верхний этаж, с каждой стены смотрело её прекрасное лицо. И с годами оно становилось только интереснее. Ему никогда не надоедало на Наталью просто смотреть. Или не просто смотреть. Вот и сейчас, встретившись с ней глазами, он уловил шевельнувшуюся мысль – может, попозже поехать? Рано ведь ещё совсем. Но Наталья, смеясь, уже выталкивала из дверей:

– Поезжай, я же знаю, у тебя в голове одна эта эмаль твоя бледно-голубая!

– Не моя, – поправил он, прижимаясь лицом к её шее. – Но я вернусь, ты жди!

Во дворе выбежал из будки поприветствовать хозяина здоровенный алабай.

– За старшего остаёшься, береги хозяйку!

Наталья смотрела из окна. Он помахал рукой и сел в машину.

Как молодой повеса ждёт свиданья, бормотал Смирнов, петляя между домами – то древними деревянными развалюхами, то блочными или кирпичными, разной степени зажиточности. До реки доехал быстро. Помесил колёсами грязь, ища место, где бы встать поудобнее. Вышел. Посмотрел вокруг, прикрыл глаза, вдохнул, выдохнул. Ну вот. Здравствуй, это я.

Всё было, как надо. Выцветшая красная крыша дебаркадера в мерцающем воздухе стала земляничной – и не просто розовой, а того вкусного оттенка, как если раздавить спелые ягоды в густых сливках. Снег на берегу где-то сошёл, где-то остался, и показались перевернутые старые лодки, одна из них была неожиданного цвета старой бирюзы. По реке плыли разнокалиберные льдины, уводя взгляд к жёлтым стенам собора и дальше, дальше, где уже ничего не было видно и мерещилась поэтому всякая загадочность и бесконечность.

Но сначала взгляд спотыкался о метромост.

Он нависал над рекой, деля перспективу пополам тёмной бескомпромиссной трубой. В ней периодически происходило какое-то движение – это проезжали поезда метро. Прямо пищеварение какое-то, подумалось Смирнову.

Не шедевр, да. Ну ладно.

Теперь надо было быстро.

Всё последующее было делом техники, а техника у Смирнова была какая надо, своя, фирменная. В художественном он не доучился, и не только по причине той самой природной безалаберности, но и потому что там слишком уж правильно учили. Глядя на то, чем сейчас восторгались критики, его преподаватели сорок лет назад кривили рот и говорили – дескать, у вас, Виталий, талант некоторый есть, но что ж так спешить, минуя опыт предшественников? Поэтапно надо, медленно. Но поэтапно у Смирнова не получалось, поэтому он решил преподавателей своим присутствием не огорчать и учился дальше сам. Ничего, научился.

На холст ложились широкие мазки, земляничная крыша рифмовалась с нежно-розовой рощей на том берегу, вода блестела разноцветной мозаикой. Внизу, у лодок задирала лапу какая-то дворняга – он зацепил и её, добавил в пейзаж сиюминутности. Пока намечал лёгкими линиями метромост, не заметил, как на бирюзовую лодку присела тёмная фигура. Пёс суетился рядом.

Бомжик, определил Смирнов. Гретсяя. Тоже кстати.

Пейзаж оживал. Тут главным было ухватить освещение и этот живой воздух, чтобы, глядя на картину, зритель начал глубже дышать. Дышите глубже, вы взволнованы. Взволнованы наступившей весной. Пришедшей лично к вам, зритель, причём прямо сейчас. Так и назвать – «Пришла весна». Банально, конечно. Но точно.

Сколько времени прошло с того, как он начал работать, Смирнов не знал. Когда всё идёт, нельзя останавливаться. Он оторвался от холста ровно в тот момент, когда стало ясно, что закончить можно и дома. Тут же страшно захотелось есть. Где там они, Натальины пирожки?

Он сходил к машине и вернулся с пакетом и термосом. Неподвижная фигура бомжа всё так же темнела на лодке, успокоившаяся собака сидела рядом.

– Эй, уважаемый! Подходи пирожком угоститься! – позвал Смирнов.

На приглашение первым отреагировал пёс. Он сорвался с места и взбежал по склону на пригорок, где расположился Смирнов со своим этюдником.

– Я тебя, что ли, приглашал? Это ты уважаемый?..

Пёс вилял хвостом, твякая и оглядываясь на хозяина. Тот повернул голову.

Юрка, вот кто это был. Новенький.

Почти всех местных бомжей и прочих людей трудной судьбы Смирнов знал лично. Они были частыми персонажами его картин, и, если кто-то из критиков упрекал Смирнова в конъюнктуре, он только усмехался – мир этих людей был и его миром. Это сейчас его жизненная дорога стала прямой да гладкой, но только он знал, сколько ухабистых петель пришлось до этого хайвэя проехать, и через какие трупы пролегал путь. Поэтому все его герои знали: Смирнов – свой, если что, в помощи не откажет. Иногда он приглашал их на свои выставки – они недоверчиво разглядывали то картины, то художника, будто видели его в первый раз, и выражали свои чувства многозначительным «Ишь ты!...».

Юрка появился в посёлке недавно, помощи не просил, держался обособленно, где жил – непонятно, тёрся иногда у магазинов – разгрузить-загрузить, поднести-унести. На вид, разумеется, бухарик, но вроде в завязке.

– Пирожки у меня, подходи, пока их твой бобик не перехватил!

Юрка с трудом встал. С первого шага стало заметно, что он сильно хромает. Поднялся на пригорок по лестнице дебаркадера. Пёс бросился навстречу, напрыгнул, чуть не опрокинул.

– Да тихо ты! Уймись, Музон, уймись!

– Музон? Ты этак его зовёшь? Ну, придумал! – Смирнов

протянул Юрке пирожок.

– Вообще-то он Муссон, да я замучился объяснять, что это такое. Музоном проще.

Он поднёс пирожок к носу, вдохнул домашний запах, откусил.

– Вкусно.

Отломил кусочек и дал собаке.

– Сначала я его Мусей назвал – как-то не разглядел, что это кобель. Маленький совсем был, дня два или три, выкинул кто-то. Я его на себе носил, кормил из пипетки... И ничего, теперь вон какой лось, и ещё растёт.

Пёс, чувствуя, что говорят о нём, непрерывно вилял хвостом.

– Живёшь тут? – Смирнов кивнул в сторону дебаркадера.

– То здесь, то там, – неопределённо ответил Юрка.

– А чего сидел?

– Река пошла. Красиво.

Ответ был неожиданным.

Людей с чувством прекрасного Смирнов уважал. В бомжах оно встречалось редко; люди они, как правило, по жизни скользкие, ни на чём не задерживающиеся, в том числе и взглядом. Свободные – от всего, за исключением самих себя.

Смирнов с новым интересом посмотрел на собеседника. Небезгрешное прошлое сильно отразилось на его лице, и к нему навечно приросла маска, по которой любой нарколог сразу распознаёт алкоголика, будь тот хоть десять лет в завязке. «И любой художник», мысленно добавил Смирнов. Но глаза Юрки смотрели совершенно трезво, а речь выдавала человека с образованием.

– Метромост вот только – кишка кишкой. – Юрка доел пирожок и потёр друг о друга ладони, стряхивая крошки. – Спасибо.

Такое совпадение мыслей было уж совсем удивительным.

– А чем он тебе не угодил?

Юрка криво улыбнулся, взглянув на мост.

– Смотреть на себя заставляет.

И добавил после паузы:

– Отец у меня на этой стройке... работал. И я при нём. Подвёл я его.

Глядя на Юрку, трудно было представить, что он мог где-то работать – именно работать, а не подрабатывать на подхвате. Но если при отце, тогда понятно. Таких отцов, всю жизнь тащивших за собой непутёвых отпрысков, Смирнов знал. Он протянул Юрке ещё один пирожок, прикидывая, сколько тому может быть лет. Но что-то почудилось вдруг в безнадёжно-тоскливых глазах бомжа, и Смирнов спросил:

– А отец-то жив?

Вопрос повис в мерцающем апрельском воздухе.

Со стороны моста доносился тихий грохот проезжающих составов. Сопел переминающийся с лапы на лапу Музон – бывшая Муся. Он не сводил глаз с пирожка в руке хозяина.

– ...Умер... Говорю же, подвёл я его, – Юрка перевёл взгляд на сверкающую между льдинами воду. – Год назад. Как раз тоже река пошла.

Он с трудом оторвал взгляд от реки и помял пальцами пирожок. Видно, пирожки потребовали от Юрки ответной любезности, и он через силу пояснил:

– Накосычил я там по пьяни сильно... Да... Он кричал, лучше б ты с моста этого в реку сиганул... Всю жизнь я у него камнем на шее. Теперь вот нет шеи, сам качусь.

Он повернулся и заковылял прочь, едва скользнув глазами по наброску.

– За угощение спасибо.

– Погоди, – остановил его Смирнов. – Если помощь нужна или там деньги, заходи – работа всегда есть. Ближний к лесу дом в посёлке, я Смирнов, художник.

– Слыхал. Да я недолго тут задержусь. На Север пойду, по реке. – Он взглянул на далёкий собор и потрепал собаку по холке. – Вместе пойдём.

– А что дома-то не живёшь?

– ...Не хочу. Родня пусть живёт. – Он помолчал. – Лучше б я тогда прыгнул...

Показалось или нет? Будто это «я» прозвучало чуть громче остального?

Смирнов ещё долго стоял на пригорке, вглядываясь то в свой набросок, то в темнеющую реку. Домой вернулся в сумерках.

– Ну, что? Поймал свою эмаль? Голодный?

Из кухни пахло ужином.

– Голодный, голодный. Но пирожки были кстати. ...А скажи, – взглянул Смирнов на жену, – когда строили метромост, что там за авария была, не помнишь?

Натаалья помнила всё и всегда. Он её в шутку иногда называл справочным бюро.

– Что за авария – этого тебе никто не скажет, но стройку остановили, а виновный – кто-то из инженеров, кажется – с моста прыгнул. Не нашли его, а дело замяли. А что это ты вдруг вспомнил?

– Да так...

Вечером в мастерской он снова вглядывался в свой пейзаж, не решаясь прикоснуться к нему кистью. Теперь уже его не занимали

неуловимые оттенки апреля. Метромост на холсте был едва намечен, но Смирнов видел только его, да сгорбившуюся фигуру на бирюзовой лодке. Он чувствовал, что уже и сам сидит рядом, ощущал одновременно солнечное тепло и речной холод, а мост тянул его, тянул к себе, в себя... И вот он уже стоит на мосту, вокруг непрекращающийся шум стройки, а он смотрит на проплывающие внизу льдины и не может оторвать глаз от их движения...

Внезапно художник быстро подошёл к картине и несколькими взмахами кисти заставил сидящую спиной фигуру отвернуться от реки и посмотреть сквозь зрителя, вдаль. А потом широкими мазками убрал тёмные очертания моста – и он исчез, будто его и не было. Розовела земляничная крыша дебаркадера, жёлтыми свечками поднимался вдаль собор, и несла к нему разноцветная река льдины и всякий весенний мусор, и хотелось глубже дышать и чувствовать, как из твоей души мусор уходит тоже.

– Как назовёшь? – спросила подошедшая Наталья.

Смирнов с любовью посмотрел на жену. Хорошо, когда тебя понимают. Он перевернул картину и размашисто написал на обороте: «Исчезнувший метромост».



La Ménagère.

Бумага, акварель, 35X50 см.